

ЕЛЕНА СТАРЫГИНА



ЗАРЕВО

Елена Старыгина Зарево. Роман

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25557516

ISBN 9785448563737

Аннотация

История России сплошь покрыта кровотокащими, трудно рубцующимися ранами. Ран много, одна из них – русские священники – боль, которая растянулась на годы. История России – история одной семьи. Факты, описанные здесь, достоверны или почти достоверны. Герои, за исключением некоторых, лица не вымышленные. И пусть читатель увидит некие расхождения, автор не ставил цели придерживаться полной достоверности событий, а пытался воссоздать страшную картину лихолетья, которая захлестнула многие и многие сердца.

Содержание

Предисловие	6
Глава 1	10
Глава 2	20
Глава 3	37
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Зарево Роман

Елена Старыгина

*Моим дорогим друзьям Михайловым-
Селивановским посвящаю...*

© Елена Старыгина, 2017

ISBN 978-5-4485-6373-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



История России – это, в частности, и то, о чем говорится в романе. История России – история одной семьи. Лишения и слезы, боль и утраты – все переплелось воедино. Факты, описанные здесь, достоверны, или почти достоверны, да

и кто теперь знает наверняка, как оно там было, десятилетия назад. Герои, за исключением некоторых, лица не вымышленные. И пусть читатель найдет расхождения и несогласования, автор не ставил перед собой цели придерживаться точной хронологии и полной достоверности событий, а пытался еще раз воссоздать страшную картину лихолетья, которая захлестнула многие и многие сердца.

Предисловие

Крупные капли дождя упали на сверкающие лаком крышки гробов, и небо, которое знает все о смерти и бессмертии, разразилось громом. После долгих беспутных десятилетий прах Николая II обрел, наконец, покой. Земля приняла в свое лоно зверски убиенного.

Лето после горбачевской оттепели...

Тысячи некогда отверженных, родившихся, выросших и состарившихся вдали от настоящей родины, впервые ступили на землю, которая вдохнула жизнь в их отцов и дедов – они уже не чаяли узнать что есть русская земля.

«Мы очень идеализировали Россию, – говорит Всеволод Михайлов, русский американец, впервые увидевший историческую родину после горбачевской оттепели. – Наши родители обожали ее и передали всю любовь нам, детям, не знаям настоящего дома. Нет, родители не были обижены на Россию, напротив, всю свою жизнь они мечтали вернуться домой!

Для нас же, впервые приехавших сюда, все оказалось достаточно сложно. С одной стороны, трогательно было всюду слышать русскую речь, видеть русское, ни с чем не сравнимое, гостеприимство. С другой – постоянно чувствовались недоверчивые взгляды и не покидало ощущение, что мы здесь чужие. Мы – русские, но мы – не свои. Люди со-

бирались посмотреть на нас, как на некое чудо, как на «белых ворон», и порою зависть, злоба и недоверие пронизывали насквозь. Грязь на улицах, не очень чисто одетые люди – все это удручало и совсем не вписывалось в те каноны, которые существовали в наших фантазиях о России.

Великая страна... Что случилось с ней?!

Две проблемы: экономика и психология россиян тормозят движение вперед.

Страна, обладающая колоссальными богатствами должна научиться превращать их в то, что было бы интересно и необходимо западному миру для приумножения своих же богатств; должна научиться видеть свои недостатки и бороться с ними, а не кричать о том, что «я другой такой страны не знаю...»

Императорская семья обрела покой, обретут ли покой и найдут ли свой дом те, кто стремился к этому всю жизнь?

...

История России сплошь покрыта кровоточащими, трудно рубцующимися ранами. Ран много, одна из них – русские священники, их семьи, их дети и внуки – боль, которая растянулась на годы.

История России – это, в частности, и то, о чем говорится в романе. История России – история одной семьи. Лишения и слезы, боль и утраты – все переплелось воедино. Факты, описанные здесь, достоверны, или почти достоверны, да

и кто теперь знает наверняка, как оно там было, десятилетия назад. Герои, за исключением некоторых, лица не вымышленные. И пусть читатель найдет расхождения и несогласования, автор не ставил перед собой цели придерживаться точной хронологии и полной достоверности событий, а пытался еще раз воссоздать страшную картину лихолетья, которая захлестнула многие и многие сердца.

Русские священнослужители – особая глава. Почему так редко вспоминаем мы тех, кто верил в могущество России, кто до конца был предан Богу, кто не смог вынести унижений, убийств, предательства? Они покинули родину на год, обернувшийся в долгие трудные десятилетия. Они верили и ждали. Им верили, их ждали, и слезы детей снились им, быть может, в далеких заморских снах...

«Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедовал повеления Твои хранить твердо».

Псалом 118

И сказал он сыну своему: «Неси крест достойно и возлюби Бога нашего как отца своего. И служи верно-праведно Богу нашему, как служил ему пращур твой. И сыну своему, Якову, наказ дай, чтоб бросал семя любви к всевышнему в сердца

людские, чтоб сам с именем Бога жил, и чтоб церковь стала дочерью ему, как Христу нашему».

И вырос сын Яков, приняв сан диаконский...

И вырос Андрей, Яковлев сын, и детям наказ прадедов передал.

Ушел пономарь Андрей за штаты в 66 лет век доживать к сыну младшему, Михаилу, пономарю Покровской церкви, села Ломовского, уезда Яранского.

И старшие сыновья его – Александр, Василий, Николай по стопам отца пошли и несли крест свой достойно.

Из веков далеких, теперь недостижимых, доносится стройный глас потомков Селивановских, и присоединяется к нему глас живущих ныне и сливается в единый звонкий хор, и звучит нетленное: «Во имя отца и сына, и Святаго Духа...»

Глава 1

Стоял конец декабря 1869 года, когда в семье священника Николая Андреева Селивановского, пономарского сына, родился мальчуган. И нарекли младенца Константином. У Елизаветы Ивановны это был шестой ребенок, правда, трое померли еще в младенчестве, не прожив и полугода. Крепкая, видно, была женщина, коль рожала одних мужиков. Жаль, троим Бог не дал жизни, зато росли и радовали глаз Николка и Санька, да и этот, последний, родился крепким и здоровым. Хорошие наследники будут у отца Николая.

На роду у них написано, судьбою предсказано, что все мужчины их рода, начиная с шестнадцатого века, отдают свою жизнь служению церкви и несут они людям, в сердца их и души, веру нескончаемую и любовь светлую и к Богу, и к солнцу, и к братьям-сестрам своим.

Скрипит под валенками белый снег, голубизной улыбается небо, выглядывают из лоскутного одеяла маленькие глазенки, впервые взирающие на заснеженный мир. Прижав к груди крохотный неразумный комочек, гордо шагает молодая Елизавета, вдыхая прозрачный морозный воздух, и так счастлива она, что после недавней горькой утраты, после смерти малюточки ее, Евлампущки, Бог дал ей такого богатыря. Услышал он скорбные ее молитвы, увидел нескончаемые слезы и наградил за страдания ее.

А позади бегут вприпрыжку Николка и Санька. Ура! Маленького крестить будут.

И появилась в церковной книге еще одна запись: «Принял таинство крещения раб Божий Константин. Родители его – священник сей Зосимо-Савватиевской церкви, села Красного, Яранского уезда, Вятской губернии Николай Селивановский и его законная жена Елизавета Ивановна. Оба православного вероисповедания».

Отшумели рождественские праздники, отрещали Крещенские морозы – потекли деревенские будни. За нескончаемой чередой дел незаметно подрастал маленький Константин.

Так и катились дни. И все бы ничего, но беспокоило Елизавету Ивановну здоровье отца Николая. Часто простужался он и долго болел, и не раз случалось так, что не мог учинять подписи по местам по причине тяжелой болезни. Но молодой организм не сдавался, снова поднимался на ноги ее бабушка и снова спешил на божью службу свою.

Отморозила еще одна зимушка, отцвело лето красное, и, как гром среди ясного неба, постучала вдруг беда в окошко. В очередной раз заболел отец Николай, долго лежал в бреду на широкой лавке под образами, укрытый жарким овчинным тулупом. Ни на час не отходила от него уставшая матушка. Как-то вечером показалось ей, что болезнь начала сдаваться. Повеселел ее Николай, приободрился и даже шутить немного начал:

– Что, мать, устала, небось? Все со мной, все рядом. Помнишь, как в девках, бывало, подле меня сиживала?... А мне полегчало, вроде. Ты ступай, отдохни. Зачерпни только водички ковшик, во рту сохнет.

– Сейчас, сейчас, болезный мой, – захлопотала Елизавета.

Полными слез глазами посмотрела она на образа, осенила себя крестом и поспешила исполнять волю батюшки. «Слава тебе, Господи, – думала она. – Бог даст, выкарабкается. Столько дней в бреду пролежал, впервые глаза открыл, значит на поправку пошел».

Поставив рядом наполненный водой ковш, поправив на больном тулуп, сказала:

– Пойду прилягу. Устала маненько.

– Поди, поди, полегчало мне. Еще день-другой, и вставать пора, – чуть слышно прошептал Николай.

Забравшись на теплую печку, Елизавета закрыла глаза, и мигом забылась тревожным сном. Едва лишь забрезжил рассвет, сон растаял, как небывало. Женщина очнулась в холодном липком поту, – что-то ужасное привиделось ей. Испугавшись, что долго спала, быстро, но осторожно, чтобы не разбудить спящих сыновей, слезла с печи. Ей почему-то было страшно глядеть в сторону мужа, сердце странно щемило в груди. Елизавета осторожно скосила глаза: овчинный тулуп валялся возле лавки, а под образами лежало с пожелтевшим исстрадавшимся лицом, вытянувшись во весь рост и сложив на груди руки, бездыханное тело отца Николая.

– Гос-по-ди! – воем разорвалась безмолвная тишина избы.

– Гос-по-ди! – запричитала обезумевшая Елизавета. – За что ты караешь меня, Господи? Зачем покинул нас, кормилец наш родимый? На кого сиротинушек оставил? Как жить нам теперь, на чье плечо опереться?...

Разбуженные громкими причитаниями, на печи зашевелились дети.

Старшие смутно догадывались, что случилось непоправимое. Размазывая по щекам слезы, шмыгая носом, торопясь, слазили они с печи.

И только маленький Константин лежал, тараща глаза и подвывая в тон матери на всю избу, не понимая еще всей страшной трагедии, случившейся в семье. Где понять было двухлетнему мальчонке, что не придет больше его тятка, не поднимет сильными руками под потолок, не защекочет окладистой бородой бархатистые румяные щечки маленького сорванца...

Он смотрел с печи на тихо лежащего отца, на мать, трясущимися руками гладившую всклокоченные волосы покойного, и, громко плача, тянул к отцу свои худенькие ручонки:

– Тять-каа, тятень-каа, – звал он, – иди ко мне-е.

– Тише ты, – шипели на него Николка и Санька. – Нет больше тятки, – и поняв сказанные ими слова, сами разразились громким плачем.

Октябрь 1871 года выдался довольно холодным и промозглым. По небу плыли низкие серые тучи, время от времени низвергая на раскисшую землю потоки ледяного дождя вперемежку со снегом. Порывы сильного ветра клонили к земле почерневшие голые стволы деревьев.

Накануне похорон погода присмирела. Перестал лить надоевший всем дождь, ветер разогнал рваные тучи, и, впервые за много-много дней, выглянуло скудное, почти зимнее, солнце. Выяснило. За ночь лужи затянулись тонким ледком, а утром пошел первый снег, укрывая землю белым саваном.

Гроб с телом покойного выставили в Зосимо-Савватиевской церкви, последнем обиталище отца Николая. Недолго был его путь. После окончания высшего отделения Яранского духовного училища и Вятской духовной семинарии, Преосвященнейшим Агафангелом, епископом Вятским и Слободским, был произведен он в сан священника на место в село Красное. В двадцать четыре года женился, взяв в жены молоденькую девятнадцатилетнюю Лизу, дочку священника. Через два года Лиза родила своего первенца Иоанна, но Богу было угодно забрать его. Потом родился Николай, вот он стоит, восьмилетний мальчишка, оглушенный горем. Потом был Агафангел, которого Господь тоже забрал к себе. Вслед за Агафангелом в страшных муках родился Санька. Он был таким слабеньким, и не надеялись уже, что малец выживет, но сын рос и радовал отца. Еще был Евлампущка, но и его схоронила Лиза совсем крохотным. А вот и са-

мый последний, маленький Константин, стоит перед гробом, смотрит непонимающе и гладит своей теплой ручонкой холодные неласковые руки отца.

Вся жизнь пронеслась перед Лизиними глазами, вся ее недолгая еще жизнь. Почему, ну почему так угодно Богу, что он забирает у нее самое дорогое? Как жить ей дальше?

Она уронила на грудь повязанную черным платком голову, и слезы нескончаемым потоком полились по ее щекам.

Стояли, склонив головы, прихожане, – кто смахивал рукавом слезу, кто хранил скорбное молчание. Не в силах больше сдерживать свою боль, с громким рыданием бросилась к гробу молодая женщина и в прощальном объятии сжала плечи неподвижного мужа.

Последний мерзлый ком земли упал на могильный холмик. Медленно расходились по домам крестьяне, тихим шепотом вспоминая батюшку. Спотыкаясь, не видя и не слыша ничего, шла Лиза в опустевший свой дом. Всхлипывая и цепляясь за длинную юбку, семеня за матерью маленький Константин. Следом за ними, понуриив головы и держа друг друга за руки, шли старшие сыновья.

Ватными негнущимися ногами переступила Елизавета порог холодного дома, – жизнь потеряла для нее всякий смысл. Подойдя к лавке, где еще недавно лежал ее муж, Елизавета бессознательно провела по ней рукой, будто желая поправить тулуп, как это делала совсем недавно, укрывая больного, но лавка была пуста, как пуста и холодна ее душа. Она

присела на краешек скамьи, устремив взор, полный тоски и горя, к образам, и никакая сила не могла остановить поток слез, беспрестанно катившихся из глаз.

Она просидела так несколько часов. Дети, доев оставшуюся после поминок стряпню, залезли на остывшую печь и легли, плотнее прижавшись друг к другу, чтобы не зябнуть.

– Спице, – шепнул Николка братьям, заботливо укрывая их. – Когда спишь, есть не хочется. Спице, а мамку не тронь-те, мамке и так плохо.

Над деревней кружилось черное воронье. Птицы громко кричали, то опускаясь на землю и выискивая в вылитых прямо на улицу помоях что-то вкусное для себя, то вновь взмывали в небо, поднимая ужасный гвалт и навевая на округу скорбь и уныние.

Лизин дом стоял печален и тих. Над крышами сельчан струились сизоватые дымки, и только изба батюшки Николая словно умерла вместе со своим хозяином.

– Настасья? – окликнула дородную молодую девку, шедшую с коромыслом наперевес, Лизаветина соседка. – Настась, Лизавету не видала? Я сегодня с утра от окошка не отхожу – не видно бабы. К колодцу пошла, вдруг, думаю, встречу.

– Спит, небось, уханькалась вчерась, – больно она давеча, у гроба-то, убивалась. И чего так выть! Реви не реви – не вернешь теперь.

– Ну, Наська, язык бы тебе оборвать за такие слова! Ты

сначала замуж выйди, поживи с мужиком, детей от него нарожай, а потом посмотрим, будешь выть или нет.

– Вот привязалась... Не подумала я, – дернула плечом Настасья. – А может, Лизавета к кому из соседей ушла?

– О чем судачите, бабы? – раздался позади голос пономаря Дмитрия Фокина.

– Да вот, говорим, где-то матушки давно не видать, кабы чо худого не случилось.

– Чем разговоры говорить, давно б зайти к ней могли, – и он быстрым шагом направился к дому покойного отца Николая.

Дверь была не заперта. Стукнув для прилику пару раз, Дмитрий, нагнувшись, чтобы не задеть головой низкий дверной косяк, вошел в холодную избу. Дети сидели на печи и грызли черствые корки.

– Здравсьте, дядя Дмитрий, – уныло поздоровались они.

– Здорово, орлы. Мать-то где?

– Там она, – кивнул Николка за загородку, – со вчерашнего дня не выходит.

Лиза сидела тихо. Слезы ее давно высохли, а на посиневших губах блуждала какая-то странная улыбка.

– Кх-кх... Доброго здоровьица, матушка, – неуверенно проговорил Дмитрий. – Лизавета! – безмолвная тишина.

Он подошел к Елизавете и с силой тряхнул ее за плечи.

– Лиза! Да ты что, едрит твою, в самом деле. Очнись! Ей-бо, с ума сошла баба...

Елизавета вздрогнула, поежилась и подняла заплаканные глаза на Дмитрия.

– А-а, Дмитрий, – произнесла она бесцветным голосом. – А я, вроде, задремала малость. Зябко-то как, – поежилась Лизавета и улыбнулась жалкой беспомощной улыбкой.

Сердце у Дмитрия сжалось от боли – вот оно, горе-то, что делает.

– Ты это, вот что, – сказал он, переминаясь с ноги на ногу. – Ты это брось, так изводить себя. Батюшка был хорошим человеком, да на все воля Божья. Ты не плачь, ты Богу за него молись, да еще о парнях своих подумай, – тебе на ноги их поставить надо. Давай-ка, вот что, – сказал он, почесав затылок, – хватит тут слезы лить, собирайся, у нас пока поживешь. Марусяка моя быстро в чувство приведет, самой, похоже, тебе не справиться.

– Давай, давай, собирайся, – оборвал он засопротивлявшуюся было Елизавету, – а я на улице подожду, – и, нахлобучив шапку, Дмитрий поспешно вышел на морозный воздух.

Воронье все так же кружилось над притихшей деревней. Падал и падал снег.

Прошел девятый после похорон день, прошел поминальный сорокоуст. Постепенно оттаивала душа Елизаветы Ивановны, постепенно выходила она из своего забытья. Мир, который вдруг померк для нее, снова начал расцветчиваться красками.

Зима давно заявила свои права. Снегу навалило по самые окна, а перед новым годом ударили такие морозы, что нос за дверь было высунуть страшно. Елизавета помогала Марии, жене Дмитрия, по дому, а ее пострелы днями пропадали на улице. Придут с морозу веселые, румяные, посмотрит на них Лизавета, и сердце защежит – ведь чуть сиротами мальцов не оставила.

Уходил старый 1871-й год, уходили вместе с ним все беды и несчастья, свалившиеся на семью Селивановских. Заметало вьюгою деревенские улицы, заносило снегом крыши домов деревенских, засыпало могилы на кладбище. Торопилось, бежало время. Уходило в небытие все сегодняшнее, и только память, людская память, была неподвластна ни снегам, ни ветрам, ни времени. Воскрешала она морозными вечерами и веселые капли, и цветастое лето, и наряд подвечный, и первый крик младенца, и скорбный горький панихидный звон.

Уходил старый год. Что-то ждет впереди, какие печали-радости?

Глава 2

Было то время суток, когда природа, утомившись за день, наслаждалась ею же созданною тишиной.

Солнце, нырнув в лохматое пурпурное облако, прощальным лучом коснулось верхушек колючих елей, поиграло кудрявой зеленью берез и, запутавшись в благоухающем многоцветье ржи, робко дотронулось до темных ресниц Константина. От нежного прикосновения Константин открыл глаза. Он лежал на теплой земле, слушая, как в траве стрекочет кузнечик.

Костя любил это время, любил поле, любил лес, что невдалеке, любил тишину и уединение. Давно, еще в детстве, он часто приходил сюда и, бросившись ничком в густые травы, мог часами лежать так, думая о бытии своем, о смысле жизни, о своих радостях – больших и малых.

Дядя Дмитрий, их благодетель, как называла его матушка, подшучивал над Костей, мол, больно серьезен не по годам, мол, другие-то парни давно за девками бегают, а Константин все в птах в лесу слушает.

Дмитрий был прав. Константину не любы были забавы его сверстников, ему больше нравилось проводить время за чтением книг или пропадать в церкви, где просвирницей служила мать, слушая светлые молитвенные пения и разглядывая написанные маслом лики святых, наблюдая, как пляшут

веселые огненные язычки на восковых свечах.

Для себя он давно решил, что пойдет по пути, которым шел его отец. Ему казалось, что быть с Богом – его предназначение, и когда в церкви Костя глядел на любимую икону святого Кирилла, он будто слышал, что губы старца шепчут ему: «Живи в молитве».

Достигнув того возраста, когда можно было начинать учебу в духовном училище, Константин сказал матери: «Это мое. Я буду учиться там».

Вятское духовное училище, куда поступил Костя, представляло собой

большое трехэтажное каменное здание. Располагалось оно на крутом берегу реки Вятки, а лицевым фасадом было обращено на городскую площадь Александро-Невского собора. Рядом с училищем стояли каменный двухэтажный дом для смотрителя и его помощника и деревянный – помещение для училищной больницы.

Местоположение училища было весьма удачно – с одной стороны площадь Александро-Невского собора открывала вид на самую красивую часть города, с другой – крутой берег реки давал возможность окинуть взором всю обширную, покрытую хвойными лесами заречную часть Вятки.

В нижнем этаже училищного корпуса помещались раздевальная, поварская, хлебная; в среднем и верхнем этажах – спальные комнаты.

В лютые стужи из-за обилия окон и неаккуратных топок

голландских печей училище было похоже на холодный чулан, куда сердитый отец закрывает нашкодившего ребенка. Ученики, чтобы разогреться немного, в свободные от занятий часы любили сиживать в поварской или пекарне.

Правда, хлебнику Мокею Афанасьевичу совсем не нравились неожиданные гости, и, разогняя их, он, для остратки, замахивался мучным мешком, а иной раз, хватал какого-нибудь зазевавшегося по спине, оставляя на ней белый след.

Костиным излюбленным местом был светлый училищный храм. Он охотно посещал его и в праздники, и во время богослужений, и во время вечерней молитвы перед сном.

В училищном храме служили иеромонахи из Трифонова монастыря, которые часто менялись. Одного из них, с грубым, громким голосом, отца Павлиния, Костя недолюбливал и побаивался. Его седая голова и огромная шевелюра внушала страх не только Константину. О Павлинии шла молва, что силою своей молитвы он мог изгонять бесов из бесноватых, привозимых к нему в Вятку с разных сторон для исцеления перед ракою преподобного Трифона.

Время, проведенное в училище, было дорого Константину. Позднее, учась в духовной семинарии и получая от учебы не меньшее удовольствие, Константин все же с особою теплотой вспоминал и холодные зимние училищные вечера, и сердитого Мокея, и училищный хор, который пользовался большой популярностью у городской публики.

Костя потянулся, пора идти. Мать заждалась, наверное, да и братья, должно быть, приехали. Редко теперь доводилось собираться им всем вместе в родном доме. Николай и Александр имели свои приходы, и времени на разъезды у них не оставалось. Сегодня же особый случай – окончание Константином духовной семинарии.

Извилистая тропинка, тянувшаяся среди поля, выходила прямо к дому Селивановских. Старый и неказистый, он давно покосился, но смотрел на деревню всегда чистыми веселыми оконцами, в которых костерками пылали красные пышные герани.

Лизавета хлопотала на кухне: она доставала из печи румяные, вздувшиеся посередке блины и кидала их на огромное блюдо.

– Костюшка, наконец-то, – улыбнулась мать, намазывая шипящую сковороду маслом.

– Братьев еще нет? – обжигаясь и пытаясь засунуть в рот горячий блин, спросил сын.

– Проснулся, милый... Давно приехали, дожидаться тебя не могут. Иди, в бане они парятся. Да кваску не забудь захватить, – прокричала уже вслед.

«Взрослый какой», – подумала Лиза, глядя на закрывшуюся за сыном дверь. Она склонилась над пылающей печью, наливая на чугунную раскаленную сковороду очередной блин. Лицо осветилось ярким пламенем огня, весело

заплясавшим в темных Лизиных зрачках и высветившим морщинки, маленькими лучиками собравшиеся вокруг глаз. Мысли, как языки пламени, заметались в Лизаветиной голове: «Взрослые... Совсем взрослыми стали сыновья, – вздохнула она. – И когда выросли? И когда я успела состариться? Давно ль была молоденькой хохотушкой, давно ль шила подвенечное платье, а вот, поди ж ты, и косточки мужнины в могилке сгнили, и сыны вон какие – Николай с Александром сами уже приходы имеют и деток воспитывают. Костя скоро к службе приступит. Мы стареем – дети взрослеют», – вновь вздохнула она.

В этот вечер мать с сыновьями сидели долго. Лиза вспоминала, как поднимала их на ноги одна, без мужа, как порою не доедала, отдавая последний кусок своим мальчишкам... Вспомнили Марию с Дмитрием, о нынешнем житье-бытье поговорили... Легли спать, когда луна начала бледнеть и сонно зачивкали первые пичуги.

Лизавета провожала сыновей, утирая слезы:

– Когда теперь-то ждать, неужели опять надолго расстанемся?

– А когда, кто знает когда. Да не плачь ты, мать, не навсегда прощаемся, – обнял ее за плечи Костя и, поцеловав в мягкую щеку, прыгнул в телегу, где уже сидели Николай с Александром.

С Яранска до Вятки Константин добрался быстро. В Вят-

ке же ему пришлось остановиться на ночлег. В доме Ивана Куклина, что в центре города, близ Царевоградского моста по Набережной Монастырской улице, он снял номер за двадцать копеек. И хотя здесь всегда было полно народу, – приезде на своих подводах пользовались двором, а ямщики любили съезжаться сюда, потому что имели бесплатную кухню, – Костя решил заночевать именно тут – чтоб к народу поближе.

Встал он чуть свет – дорога предстояла дальняя. По направлению Вятской духовной семинарии Константин ехал в Котельнич, куда его определили на место псаломщика в Котельнический Троицкий собор.

Добирался долго. Жара стояла несносная. В знойном воздухе жужжали жирные приставучие пауты.

– Лико, распогодилось как, – прошамкал бородатый мужик с гнилыми зубами, который вызвался довезти Константина. – Думали, уж не будет погодки. Всю весну, почитай, лило да морозило. Луговья-то, вона как, затоплены были. Осимь, говорят, наполовину червем истреблена. Теперь, по приметам, тепло долго будет. Дай-то Бог. Без хлебушка бы не остаться...

– Дай-то Бог, – поддакнул Константин.

– А ты откеда, родимый? – спросил мужик.

– С Яранска еду. Село Красное слышал?

– У-у, далече. Живешь, что-ли, тамока?

– Жил. К матери повидаться ездил.

– Ты не сердчай, что я надоедливый такой: скучно всю дорогу-то молчком ехать, я и привык лясы точить.

– Ничего, говори, мне веселей будет, – улыбнулся Константин.

– А в Котельниче у тебя никак зазноба живет?

– В Котельнич я на службу еду, после духовной семинарии.

– Во как? – присвистнул мужик. – Стал быть, святое лицо?

– Ну-у, – Костя развел руками, – называй, как знаешь.

– Пшла, родимая, вот кляча старая, плетется еле-еле.

И ей, видно, жарко, – мужик затряс лохматой головой, отгоняя от себя паутов.

Костя засмеялся:

– Уж больно ты на одного иеромонаха похож. Был у нас такой, отец Павлиний. Боялись мы его ужасно. Бородатый, с седой огромной шевелюрой, он, бывало, гаркнет своим голосищем, у нас, учеников, аж мурашки по коже. Говорят, он силою своей молитвы бесов изгонял.

– Бесов я тоже изгонять могу, – хохотнул мужик. – Из своей клячи только. Заартачится, я стегну ее пару раз – все бесы к чертовой бабушке улетучатся, – заржал он, словно подражая своей кобыле, и с силой стегнул ее по впалым бокам.

– А еще я, родимый, во какое средство знаю для изгнания бесов, – бородач достал обхватанную бутылку, встряхнул ее и смачно приложился губами к узкому горлышку. – Эх, хороша. Будешь? – протянул он грязный сосуд с мутноватой

жидкостью Константину.

– Нет, спасибо. Не боишься, по такой-то жаре? Разморит, не доедем.

– Кого, меня разморит? Эт ты зря. Я до нее привычный. В нашем деле без сулейки нельзя. Зимой отхлебнешь из нее – душа сугреется и мороз не страшен, а летом приложишься – и птахи, кажется, веселее чирикать начинают. А ты говоришь – раз-мо-рит.

Дорога была ухабистая и пыльная. У Быстрицы, неширокой речушки, остановились передохнуть и освежиться. Костя не единожды предлагал Проньке, так звали бородача, отправляться обратно, но тот упрямо шумел:

– Нет, родимый. Я такой – взялся за дело, так до конца. Довезу – не боись. Щас в Быстрице остановимся, заночуем. Во-он, видишь, на той стороне реки домишки и церквушка – это и есть село Быстрица. Лошаденка моя отдохнет тем временем. Ты не гляди, что она у меня ребриста, она дюжая. Доберемся. Думаешь, я в Котельниче не найду желающих прокатиться до Вятки? Да не буду я Пронькой после этого.

Попутчиков Пронька и впрямь нашел быстро. Рассчитавшись со своим говорливым бородачом, Костя прямиком направился к Троицкому Собору.

Ночь перед первой в его жизни службой была беспокойной. Константин ворочался с боку на бок, пытаясь заснуть, но сон не шел к нему. Лишь на какое-то время Костя впа-

дал в забытьё, и ему почему-то виделся малыш, кричащий у него на руках. Он был малюсеньким, розовеньким. Костя кропил его головку, плечики, животик святой водой и производил трубным голосом, какой был у отца Павлиния: «Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единого Господа Иисуса Христа Сына Божия Единородного». «Верую», – разносилось по безмолвному храму, младенец переставал плакать и улыбался. С улыбкою на устах Константин пробуждался, думая, что сон этот, должно быть, к добру, и снова ворочался в ожидании утра. Ночь показалась бесконечно длинной, и когда в окна заглянул первый луч, он, облегченно вздохнув и устало потянувшись, сел на кровати.

Где-то в соседнем дворе тихо позвякивало ведро, пробовал свой голос первый петух. Привалившись к прохладной стене, растирая затекшие конечности, Костя уставился в неровный, побеленный известкой, дощатый потолок, улыбаясь своим мыслям. Было еще довольно рано, но спать совсем не хотелось. Константин протянул руку к столу, стоявшему рядом с кроватью, взял старую газету и, прочитав пару строк, вдруг почувствовал, что буквы начинают скакать перед глазами, и сладкий долгожданный сон разливается по его телу.

«Мамка, мамка, а чего меня Евлашка, дяди Дмитрия, сиротой называет?». «Да какая ж ты сирота? У тебя я есть». «А тятка, почему умер тятка?». «Болел он часто, сынок».

«Мамка, я знаю, кем буду, когда вырасту. Я, как тятка, в церкви, в рясе ходить буду. И буду у-умный».

Костины волосы прилипли к вспотевшему лбу. Он так ясно видел свое далекое детство, что его расслабленный в эту минуту мозг не мог сообразить – во сне все происходит или наяву.

«Мамка, о деде Андрее расскажи». «А чего рассказывать. Пономарем он был, служил в Орловской округе, пятерых детей имел. Постой, я тебе вот что показать хочу». Мать достала из сундука затертый на сгибах листок бумаги и начала читать: «Если не окажется препятствий, то предоставить за сия просителя причетническое место, до обучения его в твердости и до совершеннолетия. Января, двадцать третьего дня, 1800 года, – мать читала плохо, спотыкаясь о каждую букву и напрягая зрение. – Великому, Преосвященнейшему Амвросию, Епископу Вятскому и Слободскому, Яранской округи, села Ижевского, Спасской церкви, умершего пономаря Александра Селивановского от сына его, праздно живущего Андрея. Покорнейшее прошение: по умершим отца моего нахожусь я, нижайший, при Спасской церкви в праздности, и не имея себе пропитания, с оставшимся от родителя моего семейством и испытывая крайнюю скудность. Того ради, вашего Высокопреосвященства, милостивого отца Архипастыря, покорнейше прошу меня, нижайшего, на праздное пономарское место к Христорождественской церкви с получением доходов, как нечто единое»... «Вот откуда только этот

документ, – сворачивая листок и пряча его обратно в сундук, сказала мать, – я и сама, сынок, не знаю. Кто-то из наших, должно быть, писал. Давно эта бумажка у нас, мне ее еще твой дед казывал. Лежит без дела, а выбросить жаль. Да пусть себе лежит. Зато точно могу сказать тебе, сынок, что на деда своего, Андрея, – не того Андрея, о котором я тебе только что читала, – ты очень похож. Он такой же был: ростом невысок, коренаст, волосы волнами, а глаза, что тебе небо. Чего говорить – весь в деда. Это ты правильно сделал, что традиции семейной не нарушил, по отцовской и дедовской линии пошел. Ты этот день запомни, сынок, – семнадцатое июня 1892 года. Это твой день. Это начало большого пути. А теперь вставай, не гоже опаздывать в первый-то день. Вставай, пора уже», – и мать легонько прикоснулась к спутанным волосам Константина.

Костя, встрепенувшись, открыл глаза. Присутствие матери было настолько явным, что он почувствовал даже легкое шевеление воздуха в его комнате. Обшарив вокруг себя взглядом, Костя засмеялся – откуда ж ей здесь взяться.

Двуглавый Троицкий собор находился близ Соборной площади. Шел Петров пост и четвертая неделя Пятидесятницы. Народу в это время в церкви бывает полно. Костя глядел на разноликую людскую массу и чувствовал, как от волнения руки-ноги его дрожат мелкой неприятной дрожью, и крупные холодные капли пота стекают за воротник. Пес-

нопения получались плохо – язык не слушался. «Это ничего, это пройдет, – успокаивал себя Константин, – начинать всегда трудно».

Прихожане стояли, плотно прижавшись друг к другу, было так тесно, что плечо упиралось в плечо соседа. В спертом воздухе витал сладковато-приторный запах лампад.

– От ведь, дышать нечем, – обмахиваясь картузом, громко проворчал высокий плотный мужик в атласной жилетке и красной сатиновой рубаше поверх штанов.

– Тише, тятя. Пожалуйста, потише, – повернула к нему голову черноглазая девушка с черной, до пояса, косой и сердито сдвинула к переносью брови. – Служба скоро кончится, – добавила она шепотом.

Людская толпа высыпала из церкви и слилась в единый поток. На улице было чуть свежее. Уже которую неделю солнце нещадно палило, выжигая траву и превращая воздух в дрожащее жгучее марево.

– Ну, девки, жарыща, – выдохнула рыжеволосая толстуха Гланька, срывая с головы белый ситцевый платок и отирая им конопатое лоснящееся от жары лицо. – Вечером прохладнее будет. А что, придете на вечерку сегодня? – спросила она черноглазую девушку.

– Отец пустит – придем, – ответила та и обняла за плечи худенькую девчонку, похожую на нее. – Правда, Тоня?

– Александра, Антонина, не задерживаться чтоб, – оглянулся на девушек мужчина в красной сатиновой рубаше, –

обедать скоро.

– Ох, и строгий он у вас, – с опаской глядя на удаляющегося Василия, прошептала Гланька. – А новенький-то в церкви хорош, мне понравился. Интересно, женатый ли... – сверкнула она желтыми, как у кошки, глазами.

– Ты, Гланька, больно-то рот не разевай, не по тебе краюха. Ишь, на кого засмотрелась, – уколола подругу Тоня, младшая Шурина сестра.

– А я чо, я ни чо, – захлопала та рыжими ресницами.

– Ну, мы пойдем, Глань, отец сердиться будет, – попрощались сестры и торопливо зашагали домой.

Их дом находился на Богомоловской улице, недалеко от управы, солидного здания с чугунными колоннами, где секретарем служил Василий Ердяков. В городе его считали человеком строгим, порою даже жестким, но справедливым, за что и уважали. Не первый год он был секретарем Земской управы, со службой справлялся неплохо, и потому жалованье тоже получал неплохое. Благодаря этому всех четверых дочерей на ноги поставил. Первая, самая старшая Ольга, выучившись на учительницу, давно упорхнула из родного гнезда, учительствовала где-то в деревеньке, и не было от нее ни слуху, ни духу, за что Василий сердился на дочь и видеть ее больше не желал. Вторая, Мария, окончив Вятскую Мариинскую гимназию, работала в городе учительницей арифметики и рукоделия, отец ее уважал за серьезность мыслей и младшим всегда в пример ставил. К третьей, черногла-

зой Шурочке, Василий питал, пожалуй, самые нежные чувства, на которые только был способен, и тосковал даже тогда, когда дочь его долго задерживалась со своими неразумными вихрастыми учениками – она, после окончания курсов Мариинской гимназии, исполняла обязанности учительницы в частном доме, в соседней Сосновской волости.

Шура была особенно дружна с самой младшей из сестер, резвой хохотушкой Тоней, которая, еще не закончив городского училища, так же, как и сестры, мечтала учить детишек грамоте. Отец же считал Тоньку соплячкой и шалопайкой. Впрочем, он всех судил очень строго.

Полную противоположность мужу являла жена Василия, Татьяна. Эта тихая крестьянская женщина, молчаливая и уступчивая, умела укрощать своенравного супруга всего лишь ласковым взглядом, и он, сам любящий отдавать приказания, почему-то невольно подчинялся ей. Это теперь Татьяна со смехом вспоминает свое замужество, а тогда, когда родители сговорились сосватать их с Василием, она едва не лишилась от страха чувств, – знала Татьяна Василия с самого детства, знала его буйный нрав. Потом девки спрашивали ее, каким приговором она владеет, как приводит в чувство своего суженого. Какой там приговор – улыбнется, погладит, вот и вся наука.

Время до вечера пролетело быстро. Шура с Тоней не надеялись, что отец пустит сегодня на вечерку: с самого утра он был не в духе, по причине, известной только ему, – но все же,

набравшись смелости, Шура подошла к Василию и, взяв из рук отца газету, ласково прильнула к нему и спросила тихо:

– Тятечка, мы сегодня с Гланькой договорились встретиться вечером. Можно?

Отец нахмурил брови и открыл было рот, чтобы отрезать «нет», но мать вступилась за дочерей:

– Пусти уж их, отец. Молодо – зелено, погулять велено.

Под могучим раскидистым дубом на толстом сучковатом бревне сидели нарядные девки, лузгая семечки и аккуратно сплевывая шелуху в ладошки. Рядом топтались парни, слюнявя во рту сигарки, гогоча и отпуская время от времени в чей-то адрес крепкие словечки.

– Ну-ка, чего материтесь! Больно, думаете, хорошо? – шипела на них Гланька и, поглядывая в сторону гармониста, канючила, – Леш, может, начинать пора.

– Да отстань ты, заноза, – отмахивался от нее чубатый Лешка, – подождем еще.

– Ну-ну, Шурку ждешь. А если не придет, мы что, так и будем сидеть? – возмущалась девушка.

Она, наверное, единственная из своих подруг, никогда ни упускала случая посидеть вот так, на бревнышке, попеть вместе со всеми да поплясать. У Гланьки была давняя заветная мечта – найти себе хорошего мужа. В городе ее считали перестарком, хотя выглядела она в свои двадцать шесть до-

вольно молодо и аппетитно. Все было при ней, не было только одного – ухажера. Порою ей казалось, что смогла бы она преступить все запреты, вынести все укоры в свой адрес, да только и ей-то никто не был так люб, с кем она могла бы согрешить. Пожалуй, что Лешка... Но Лешка давно и, что самое обидное, безрезультатно страдал по ее лучшей подруге Шурочке.

– Шурка с Тонькой идут, – крикнул вдруг гармонист и растянул меха гармони.

Не первый год нравилась ему Шура, но та никак не проявляла к парню своих чувств. Как-то, правда, зимой еще, девушка позволила проводить себя до дому. Они долго стояли тогда, утаптывая под окнами синий вечерний снег, и Лешка даже решился на поцелуй. К удивлению, Шура не оттолкнула его, но после этого стала избегать Лешку еще больше. «И кто их разберет, этих девок? Чего им надо? – злился Лешка. – Из кожи лезу, чтобы понравиться. Вон, никто из парней не наряжается так, как я». Лешка и впрямь любил пощеголять: он носил панбуковые шаровары, яркую ситцевую рубаху с цветным шарфом на шее, обувался в кожаные сапоги с длинными наборными голенищами и медными подковками на подборках, а фуражку с лаковым околышком сдвигал на затылок так, чтобы привлекательно развевался по ветру его густой русый чуб.

– Эх, – Лешка кинул фуражку оземь и заиграл плясовую. – Спляшем, Шурка, что ли?

Шура безразлично пожала плечами:

– У Гланьки ноги горят, ты ее зови.

– Горят! Ну и что? – с вызовом бросила Гланька. – А для чего мы сюда пришли? Семечки лузгать? – вскочила она с бревна, хватая за руки девчат, захлопала в ладоши, закружилась так, что подол ее широкого платья вскинулся куполом, оголяя пухлые розовые коленки.

Глава 3

Костя смотрел в раскрытую книгу, не видя ни слова. «Устал, должно быть, – думал он. – Трудный сегодня день был». Он сидел, подперев ладонью щеку, прислушиваясь к веселым переборам гармошки. «Городские веселятся, – молодежь везде одинакова, что в деревне, что в городе. Наверное, и эта девушка там, – подумал Константин о той, черноглазой, которую видел сегодня утром в церкви. – Прогуляться, что-ли?... Смешно...», – и он снова уставился в книгу.

Черноглазая понравилась ему сразу. После, когда она приходила в церковь, он украдкой любовался ее милым открытым лицом. Ему нравилось, как она молилась, закрывая глаза и тихонько шепча молитву, нравилось, как поправляет рукой выбившуюся из-под косынки прядку темных волос. На протяжении всей службы Костя почти не сводил с нее глаз.

Шура давно заметила, что молодой симпатичный псаломщик смотрит на нее каким-то волнующим взглядом. Однажды их взгляды встретились.

Как-то, сидя на высоком берегу Вятки, где девушка любила проводить длинные летние вечерние часы, любуясь задумчивым течением темных вод, совсем рядом, шагах в двадцати от нее, за лохматым кустом шиповника, она увидела

того, мысли о ком с недавних пор не давали ей покоя. Шура разволновалась, а когда тот, о ком думала, встал и направился к ней, смутилась окончательно и покрылась ярким багровым румянцем.

– Здравствуйте, – поздоровался молодой человек, подойдя к Шуре. – Я знаю, вы часто бываете здесь. Я тоже люблю приходить сюда и смотреть на вечернюю реку. Давайте познакомимся. Я – Костя, – выпалив это, молодой человек смутился не меньше девушки, но уверенно протянул ей руку, приветственно кивнув головой.

Константин оторопел от неожиданно обуявшей его смелости. По натуре он был человеком нерешительным, с девушками знакомства не заводил, а женщин не знал вовсе.

Шура поднялась с травы, ответно протянув Константину руку, и прошептала чуть слышно:

– Давайте познакомимся... Александра... Домашние просто Шурой зовут.

Они оба замолчали, не зная о чем говорить, но мало-помалу разговорились и долго сидели потом на берегу, болтая обо всем на свете, узнав за короткое время друг о друге все или почти все.

Прошел месяц, как Костя приехал на новое место. С той поры ни одного дождика не оросило землю, и почему-то именно сегодня небу понадобилось разразиться дождем. Тяжелые лиловые тучи заволокли небосклон, где-то там, за рекой, полыхнула молния, и послышался рокочущий раскат

грома.

– Сейчас мы с вами промокнем, – засмеялась Шура.

– Спасаемся бегством, – Константин схватил девушку за руку и потянул в сторону дома.

Уже не за рекой, а прямо над их головами яркая вспышка молнии разрежала небо на две половины, оглушительной силы гром потряс землю, и поток теплого летнего дождя хлынул на пыльную листву и поникшие травы.

Промокшие до нитки Шура с Костей укрылись под навесом бакалейной лавки, до которой успели добежать. «Красивая какая», – застыдившись своих мыслей, подумал Константин, глядя на счастливое девичье лицо. Тыльной стороной ладони Шура пыталась стереть с него все еще струившиеся капли дождя, но, видя тщетность своих усилий, махнула рукой и, засмеявшись, начала оправдываться:

– Ну и пусть, буду большой дождевой каплей.

Она была хороша. Вымокшее насквозь платье обтягивало ее стройную фигуру, черные кудряшки прилипли ко лбу, веселая улыбка делала лицо озорным, а карие глаза сияли, как две ясные звездочки.

– Вот это дождик! Ну и промокли же мы! – подняла Шура глаза на Константина и замолчала...

Костя смотрел на нее долгим теплым взглядом, словно желая согреть ее немного озябшее тело. Она не отвела свой взор. Костя провел рукой по щеке девушки. Его рука была нежная и немного шершавая. Дождь стучал и стучал по на-

весу, а они молча стояли глаза в глаза.

Ливень кончился так же внезапно, как начался, и кончилось оцепенение, которое сковало их.

– Домой пора, – глухо проговорила Шура, опустив глаза.

Ей было неловко от того, что произошло мгновение назад.

– Приходите завтра на берег, – неуверенно попросил Костя.

– Не знаю, – не поднимая глаз, ответила девушка.

– Приходите, я буду ждать...

Он скинул с себя мокрую одежду и бросился на кровать, блаженно растянувшись. Спать, спать, спать... Уснуть крепко-крепко и увидеть во сне ее. Под дождем. В мокром платье с сияющими глазами.

Боже! Никогда еще он не был так счастлив, никогда в его жизни не было такого чудного дождя. Думал ли он сегодня утром, что обыкновенный дождь может так изменить его судьбу.

Спать. Спать. Спать... И пусть привидится во сне она, девушка с глазами, как две маленькие ясные звездочки.

Шура тихонько прокралась в свою комнату. Дом давно погружился в сон, мирно тикали ходики. Отец, должно быть, очень сердился, что она не пришла к вечернему чаю.

Девушка присела на кровать и распустила влажные волосы. Какое-то неясное чувство волновало ее. Шура вспомнила

долгий Костин взгляд, и сладкая дрожь пробежала по телу.

Не раз, бывало, вот так же смотрел на нее надоедливый Лешка, но взгляд его заискивающих глаз только вызывал раздражение.

Про Лешку с Шурой давно ходили разные толки. Второй год он таскался за ней по пятам, и все считали, что рано или поздно Лешка добьется своего, и пришлет к неприступной девчонке сватов. Шура же лишь пожимала плечами: поживем – увидим. Тот давний зимний поцелуй слегка разволновал ее – не более. Она и сама не знала, как так получилось, что позволила прикоснуться к себе. Просто затмение какое-то нашло. Шура сильно переживала тогда по поводу случившегося.

Рассвет приблизился быстро. Девушка так и не сомкнула глаз. Сонная глупая муха билась головой о стекло, недовольно жужжа. Шура накрыла ее рукой и решила загадать желание – если муха будет сидеть тихо в ее ладошке, то тогда... Что тогда, додумывать не хотелось.

Чуть свет в комнату вошел разъяренный отец.

– Ну, что, нагулялась? Интересно знать, где это ты была? Лешка, вон, все пороги обил. Молчишь? Ну, молчи, молчи...

Месяц пролетел незаметно. Они гуляли в дубовой роще, сидели на берегу реки, убегали в зеленый лес, провожали за горизонт краснощекое солнце... Они уже не мыслили жизни друг без друга.

Как-то вечером, когда солнце медленно погружалось в реку, Костя пришел к Шура с огромной охапкой полевых цветов.

– Пойдем на наше место, – позвал он.

Шура, быстро собравшись, пока не увидел отец, незаметно выскользнула из дому.

Они сидели и смотрели, как течение реки несет брошенную кем-то зеленую ветку. Оба молчали как будто в ожидании чего-то важного и значительного.

– Шурочка, – вдруг прервал молчание Костя, – я давно хотел тебе сказать...

Сердце девушки учащенно забилося. Она поняла, что сейчас услышит то, что было так долгожданно.

– Шурочка, – Костя нежно погладил ее руку, – ты не представляешь, что значишь для меня... Каждый раз, когда ухожу от тебя, меня охватывает страх, что больше с тобой не увижусь. Я знаю, что ты здесь, рядом, в этом городе, что завтра мы встретимся вновь, но все же невыносимое чувство не дает мне спокойно заснуть. Я не хочу разлучаться с тобой ни на час, ни на минуту. За то время, что мы знакомы, ты стала настолько дорога, настолько близка мне... Я так люблю тебя, Шурочка...

Шура не сводила с Кости счастливых глаз. Темная рябь воды, в которую нырял легкий летний ветерок, волновалась и трепетала от его прикосновения. С жалобным писком проносились над головой прибрежные белогрудые ласточки.

Сердце девушки сладостно сжималось и от Костиных слов, и от той живописной картины, которая была словно хорошо продуманной декорацией к красивому спектаклю.

– Я люблю тебя, Шурочка, ты слышишь, я так люблю тебя... А... ты? – спросил осторожно Костя.

Шура сидела в оцепенении, она уже не слышала ни шороха волн, ни писка ласточек, лишь необыкновенное слово «люблю» звенело в ее ушах.

Девушка мгновение помолчала, потом резко вскочила с травы, закружилась, засмеялась и начала сыпать на Костю цветов по цветку, те, что он подарил ей сегодня.

– Я такая счастливая, – смеясь, говорила она. – Я самая счастливая на свете, – и упала прямо в объятия Константина.

– Шурочка, Шурочка, сладкая моя, любовь моя, – Костя осыпал поцелуями ее лицо, шею, волосы, пахнущие лесной свежестью, ему казалось, что он сейчас задохнется от нахлынувших чувств. – Я так люблю тебя, я так... Шурочка, будь моей женой, – прошептал он и вдруг замер, испугавшись своих слов и того, что может услышать страшное для него «нет».

– Женой? – переспросила Шура задумчиво, прижимаясь к его колючей щеке. – Я не знаю, я... я не знаю. – Она вдруг отпрянула от него, заглянула ему в глаза, улыбнулась и снова переспросила. – Женой...? Костя, ты знаешь, я, оказывается, очень сильно тебя люблю... Представляешь? Очень-очень сильно... Костюшка, я ..., я согласна, – чуть слышно ответила она.

Отец был в гневе, когда узнал, что дочь собралась замуж.

– Ну, девка, не ожидал от тебя, – шумел он. – Нет, ты посмотри, знакомы без году неделя, а она уж замуж захотела! Чего от Лешки нос воротишь? Да, шалопай, но зато он свой. Нашенский. А шалопайство пройдет – я сам таким был. Парень второй год возле дома ошивается. Ждет, надеется. А этот пришел и... Хм, – усмехнулся Василий, – шустрый, однако.

– Отец, – попыталась успокоить Василия жена.

– Что, отец? Я Лешкину семью, как свою знаю. Мы с его отцом еще вот такими вместе до ветру бегали.

– Отец, – снова дернула Василия за рукав Татьяна.

– Молчи, мать! Ты вот лучше скажи, сколько я за тобой хаживал, сколько сапог истоптал. Вспомни, твои родители сказали, что сватать нас будут, ты и рта не раскрыла. А нынче что? – горячился он.

– Я люблю его, – наконец промолвила молчавшая до сих пор Шура.

– Люблю? Да что ты в любви-то еще понимаешь? Знаешь, я морковь тоже люблю. Вырвал ее с грядки, съел – и вся любовь. Нету ее. О любви тогда говорить можно, когда нутро человеческое познаешь. Люб-лю-ю, – передразнил отец.

– Я его люблю, – сказала Шура и закусила губы.

– Отец! – не вытерпела Мария, которая с самого начала разговора стояла в дверях и молча наблюдала за происходя-

щим. – Тятя, ты на Шурочку посмотри, на ней же лица нет.

– Да что вы все заладили: «отец-отец». Делайте, что хотите! Чего стоишь истуканом? – повернулся он к Шуре. – Зови своего, – буркнул Василий и в сердцах швырнул об стену стул.

С утра ждали сватов. Пузатый самовар, отдуваясь, стоял на столе. Пахло пирогами, творогом и еще чем-то вкусным. Все в этот день валилось у Шуры из рук. Она не находила себе места и время от времени выскакивала на улицу, чтобы не пропустить, когда покажется ее Костя.

Константин взял в сватовья Николая Кибардина, с которым вместе служил и уже успел крепко сдружиться. Николай был года на три старше Кости, но это ничуть не мешало их дружбе.

Они шли городской улицей, сверкающие, как два медных гривенника.

От волнения Константин беспрестанно покашливал и каждую минуту дергал полы своей черной наглаженной рубахи.

– Успокойся, я сам боюсь, – толкал его в плечо Николай.

Они громко постучались в дверь и, услышав «войдите», робко вошли в горницу.

– Можно ли? Здравствуйте, – стараясь казаться смелым, почти прокричал Николай.

– Здравсьте, здрасьте, – Василий восседал на стуле посре-

ди комнаты, закинув ногу на ногу и теребя себя за подбородок. – Проходите, коль пришли.

Шура стояла, прислонившись к стене, не поднимая на вошедших глаз. Ей казалось, что сердце, как колокол на городской колокольне, бьется так, что все присутствующие слышат его гулкие удары.

– Давайте сразу к столу, – засуетилась Татьяна.

Она расставила табуреты и, легонько подтолкнув гостей, загремела посудой.

Константин с Николаем неуверенно сели. Все слова, приготовленные для такого случая, улетучились куда-то под пристальным взглядом Шуриного отца.

– Что ж молчите, женихи? Я думал, вы посмелее будете? – строго взметнул взгляд Василий. – Ладно, давайте для храбрости, – откупорил он зеленого стекла бутылку. Разлив всем по рюмкам и чокнувшись с Татьяной, первый выпил, громко крякнув и закусив соленым огурцом.

Кровь быстро заиграла на его лице, он повеселел и, впервые улыбнувшись, подмигнул лукаво:

– Так что, женихи, давайте хоть о погоде поговорим, что ли.

Николай пригладил рукой волосы, улыбнулся беспомощно и почему-то посмотрел на Тоню, словно ища у нее поддержки.

– А что, погода хорошая. Наверное, именно тогда, когда в природе все цветет и благоухает, – начал он пафосно, –

зарождается в человеке нечто неземное. Одни говорят, любовь – это зло, другие – что любви нет вовсе, а я говорю, вот она, любовь, перед нами, – закончил красиво Николай, и рукой указал на Константина и его невесту.

– Как говорится, ваш товар – наш купец, – продолжал он. – Скажу наверняка, купец стоящий. А дорого ли вы свой товар цените?

– Обожди, паря, – оборвал Николая Василий. – Я хочу послушать, что сам «купец» сказать может.

– А я не знаю, что мне сказать, – неуверенно проговорил Константин. – Лишь одно я знаю точно, что люблю вашу дочь. Люблю так, как никого никогда не любил. Конечно, вы правы, осуждая нас за столь скоропалительное решение, но я хочу пообещать вам, что Шурочка будет самым счастливым человеком.

Потом Костя рассказал о своем детстве, о том, как осталась его мать одна с малыми ребятишками на руках, как хлебнули они без кормильца горя, как вырастила она троих сыновей, подрабатывая просвирницей в церкви, где служил ее муж, выучив и поставив сыновей на ноги...

Говорил он долго. Шура так и не подняла глаз на своего жениха, но чем дольше он говорил, тем увереннее она себя чувствовала и чувствовала, что отец становится все более и более расположенным к Константину.

– Вот, пожалуй, и все, – закончил тот. – Я не знаю, смогу ли добавить к этому еще что-то. Да, наверное, и не стоит.

Ваше право, отдавать за меня свою дочь или нет. Но если не благословите нас, как дальше жить мне, не знаю.

За столом стояла сковывающая тишина, и лишь комар, невесть откуда взявшийся, пищал над ухом то у одного, то у другого. Мать тихонько вытирала слезы. Она уже успела полюбить своего будущего зятя. Вспомнила Татьяна, каким было ее сватовство: не говорил ей Василий ласковых слов, не уговаривал отца, не обещал, что сделает ее самой счастливой. Сговорившись о свадьбе с родителями, он пришел в их дом, уверенно взял тихую Таню за руку и сказал, что теперь она будет его.

Отец вдруг громко забарабанил пальцами по столу, покрутив в руках ложку, вновь положил ее на место, потрогал неуверенно кончик своего носа и, наконец, выдавил из себя:

– Н-да... Любишь, значит... Шурка, ведь она такая, что не любить-то ее нельзя. Ты прав, не нравится мне, что больно уж скоро вы решение приняли, да куда теперь деваться. Люблю ведь я ее, Шурку-то, и не хочу, чтоб ей в жизни плохо было. Береги ее, – Василий поднял рюмку, посмотрел ее на свет и продолжил, – люби ее, не обижай... Шурка, ведь она такая, что не любить-то ее нельзя, – повторил он.

Шура бросила взгляд на маму и увидела ее глаза, полные слез. Та теребила платок, съехавший с головы, и не замечала, как слезы струятся и струятся по ее щекам.

– Вот и выросла дочь, – всхлипнула Татьяна. – А чего плакать, доля наша такая, – постаралась успокоить себя.

Потом, проглотив слезы и откашлявшись, затянула своим высоким голосом старинную девичью провожальную песню:

Ой, кумушки, подруженьки,
Вы зачем поздно приехали,
О чем раньше не съезжались,
Моего батюшку не разговаривали?
Мой-от батюшка разговорчив был,
Моя-то матушка разговорчива была...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.